



ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

НЕБО, Я ИДУ ДОМОЙ

Стихотворения

Дмитрий Мельников

НЕБО, Я ИДУ ДОМОЙ

Стихотворения

* * *

Она поёт про доброго жука
в индустриальном городе Магог,
и Гарина прозрачная рука
касается её холодных щёк.

О том, как выжить всем смертям назло,
она поёт на ящике пустом,
и битое зелёное стекло
хрустит под эфемерным каблучком,

и тьма густеет в глубине домов,
и пудренные волосы старух
из барского напольного трюмо
летят, как белый тополиный пух,

и зреют преисподние миры
под ветхой лакированной доской,
и скифские походные костры
пылают под заснеженной Тверской.

Я знаю этот город наизусть,
он извергает дым и вороньё,
он сорок лет готовит, как Прокруст,
мне ложе эталонное моё.

И не слезинка на моих щеках,
но воровского воздуха клеймо,
давай ещё про доброго жука,
мне в жилу эта песенка, Жеймо.

* * *

В январе в Алеппо начнется дождь,
дети из подвала попросят хлеба,

ты отдашь им всё, что в рд найдешь,
девочка размочит в воде галету,
братику чумазому вложит в рот,
тот начнет жевать её с важным видом,
взял бы вас, да надо идти вперед,
выйдя, обернешься на серые плиты,
девочка рукою тебе махнёт,
жестами покажешь ей, что вернёшься,
а потом полжизни, как сон, пройдёт,
в комнате своей ты от слез проснёшься.
"Как они там, живы ли до сих пор?" -
спросишь у холодного в искрах неба...
И никто не ответит тебе, майор:
"Спи, давно всё кончилось в том Алеппо".

* * *

На коже матовой твоей
лежит густая мгла,
я дом без окон и дверей,
но ты в меня вошла,

скрестила руки на груди
и встала у огня:
"Скажи, Зербино-нелюдим,
что любишь ты меня.

Ты истинный дурак, и дым
твои мечты, ей-ей,
но знай, Зербино-нелюдим,
что буду я твоей".

Я ездил на вязанке дров,
я жил известно как,
теперь со мной моя любовь
пьёт водку натошак.

Ведём вязанку под уздцы
по собранным полям,
и спящие в тени жнецы
подобны мертвецам.

* * *

Те мраморные столики в кафе,
и солнцедар под липами нагими,
и розовые губы подшофе,
давно уже ушедшие с другими,

не вспоминает смертный человек —
он занят важным делом по дороге:
он собирает кистепёрый снег
и облаков бескрылые молоки,

он собирает листованный нефрит,
просвеченный и позлащённый Фебом,
он выбивает звёздный кимберлит
из хорошо прокуренного неба,

кладёт в суму пустопорожний гром
и ржавое чугунное распятые,
и допивает смертным языком
весь свой бессмертный воздух без изытъя.

* * *

Снег падает на рябь свинцовых вод;
здесь в Питере престраннейший живёт
благообразный пожилой скелет
в пальто огромном с барского плеча,—
его глазницы источают свет,
как будто в череп вставлена свеча.

Во глубине Синявинских высот
ещё терпенье гордое хранят
сей город отстоявшие, и вот
в башмачкинской шинели Ленинград,

подвешенный на тоненькой реке,
качается, как в люльке родовой,
бойцов, застывших в роковом броске,
младенческой касаясь головой,

и смертная над ним витает тень,
и верно служат голод и мороз,
но сдерживать рыданья в темноте
он не дорос ещё, он не дорос.

* * *

А. С. П.

Мне вместо сердца – пламенный мотор
в анатомическом театре гор
был вставлен в грудь – и тросик «пускача»
мне вывели из левого плеча.

И в очи, чтоб закрыть их не посмел,
мне врезали рентгеновский прицел,
смещённую оптическую ось,
чтоб видел многомерно и насквозь.

И голос мёртвых – снегопад живых
прошелестел у самых губ моих,
коснувшись внутреннего слуха:

Иди, иди, живи среди людей
и дай им зренье тысячи чертей,
и праздность очарованного духа

с усмешкой подпоручика Кижэ,
закостеневшего в смутьянстве,
из комнаты, где зеркала уже
не отражают лишнего в пространстве.

* * *

Бабочка ночная,
чёрный махолёт,
надо мной летает,
словно в путь зовёт.

Чёрная невеста,
белой головой
укажи мне место
с мягкой травой,

за широкой бугой,
за могильным рвом,
за гранитным кругом,
сложенным Петром –

синие калёные
Божьи города –
яблочком зелёным
укачусь туда.

Пусть волшебным блюдцем
древних королей
слёзы обернутся
матери моей

там, где Бог на удочку
ловит облака,
яблочко на блюдечке,
тэ-че-ка.

* * *

Тихо падает листва,
с неба падая, звезда,
между липами нагими
затаилась навсегда.

Небо, небо, я живой,
знаю, ты меня не слышишь,
ты всего лишь путь домой,
журавли плывут над крышей,
в жизнь влюбленные вполне –
или это снится мне?
Пролетели мои дни,
пролетели мои годы,
ты мне руку протяни,

в час душевной непогоды
помани за облака,
уведи с собою в гору,
отражаются в зрачках
синевы твоей озёра,
небо, небо, я живой,
с расписными журавлями,
золотыми кренделями,
каруселями, шатрами,
гжелью, дымкой, хохломой –
всею ярмаркой мирской,
как на день рожденья к маме,
небо, я иду домой.

* * *

Когда в оазисах Шаданакара
садился борт, и чёрные пески
сулили нам спасенье от кумара
и полную свободу от тоски;

Когда в ауле или в сакуали
нас ждали те, в которых мы стреляли,
которые потом стреляли в нас –
я вспоминал тебя в последний раз,

как ты такая с синими глазами,
и мы всё ходим, за руки держась,
и ты мне даришь карточку на память;
на ней вполоборота и смеясь

ты смотришь в глаз хрустальный объектива,
и все, кого мы любим, просто живы,
и смерти нет, и расставанья нет.

В оазисе под чёрными песками
у мальчика, который ехал к маме,
есть карточка во внутреннем кармане,
на ней тебе всегда семнадцать лет.

